

Творческое объединение «ЗЫБЧАНИЕ» представляет ЛИТЕРАТУРНУЮ СТРАНИЦУ

**Елена
АКШЕВСКАЯ**

ЗИМНЯЯ ЯГОДА
Морозом первым поцелована,
Калина красная стоит,
Вниманием не избалована,
Терпка на вкус и чуть горчит...
Калина – ягода особая,
От времени слегка пьяна,
Под ширпотреб не расфасована,
Да, на любителя она...
А ведь когда-то пеной белою
Цвела и пахла, словно мед,
Шмели и осы стаей целою
Слетались в шумный хоровод!
Но время вёсен быстро минуло,
Как вихрь то лето пронеслось,
И скоро зимнею периною
Прикроет осень свою злость...
Земля замерзшая и грязная,
После безумия ветров,
И лишь одна калина красная
Огнем горит среди кустов!
Как капли крови среди серости,
Не зная временных границ,
Калина спелым соком светится,
Приманивая редких птиц.
И если кто-нибудь попробует
Калины горькое вино,
Пойдет десятою дорогою,
Но не забудет все равно...

**Людмила
СТАРОДУБЕЦ**

СНЕГ
Снег пушинками летал,
Что-то про себя шептал.
Прокатился возле речки
И улёгся на крыльечке.
Ночь не спал, о чём-то думал...
Ранним утром ветер дунул –
Снег пушистый разлетелся.
В шубки мир вокруг оделся.

**Алексей
КРАЕВОЙ**

БЕДА
Она нагрнула жестоко
и нежданно,
И черной тенью на душу легла,
Не новостью газетной иль
экранной,
А вот она живая, как змея.
Беда – проверка каждого
на прочность:
Один раскис – и свет уже не мил.
Другой – пружина, красота
и точность –
Чуть-чуть поддавшись,
плечи распрямил!

**Владимир
КУХАРИШИН**

СОЛДАТИКИ
У иллюзий в плену
Оказались солдатики.
Разменяли страну
На блестящие фантики.
Вместо гордой красы
Величавых строителей –
Сто сортов колбасы
Из добавок-красителей.
Променили мечту,
Променили свершения
На цветную туфту
И на телесношения.
Вместо школы – собор.
Вместо космоса – «Клинское».
Бизнесменом стал вор,
Шлюха – светскою львицею.
Только грянул звонок –
Не боровшись с искусами,
Понеслись со всех ног
За стеклянными бусами.
Разбазарили враз
То, что создано дедами.
И, сказать без прикрас,
Что мы только не предали...

Надежда КОЖЕВНИКОВА

Я ела холодный щавелевый борщ, забеленный молоком. Было вкусно. Правда, если бы добавить туда варёное яйцо да сметанки, было бы ещё лучше, да где ж их взять? Война. Тут хоть бы детям. Звякнула щекотка калитки, отвлекая меня от грустных размышлений. По дорожке к дому бежала Зина, она торопилась, её тяжёлая, ничем не стеснённая грудь прыгала вверх-вниз. Увидев меня, призывно махнула рукой:

– Нинка! Бежим на цвинтарь, бабы в лесу немца поймали, туда ведут. Скорей, а то опоздаем! – её бледно-голубая, выгоревшая косынка мелькнула за забором. Я прикрыла тарелку с недоеденным борщом, повязала платок и побежала за ней.

Цвинтарь – это большая, заросшая муромом площадь, окруженная высокими вязами, на нижних суках которых устроены качели – одни, что поменьше – для детей, а другие, с таким широким размахом, что не каждый взрослый отважится покататься – эти для молодёжи, что до войны здесь каждую ночь песни, танцы и прочие гульбища устраивала. С одной стороны цвинтаря, через дорогу, расположен клуб, с другой луг, а ещё ниже речка и старое село. Напротив клуба, в тени деревьев, стояли две длинные лавки. Земля перед ними была утрамбована ногами, как на току. Сюда, ближе к вечеру, приходили старики, прибежали малолетние дети. У них были свои гульки, свои развлечения.

Мы опоздали. Немца уже привели, это было понятно по крику и гвалту толпы состоящей из баб и детей. Подойдя поближе, мы увидели и самого немца. Худой, в выгоревшей рваной форме, со связанными за спиной руками, он стоял, опустив голову. Вид у него был потрёпанный, жалкий.

– Ну, что сука? Навоевался? Напився нашей кроушки? – кричала бабка Агафья, по-петушиному, насканивая на него.

– Мовчишь? Тяперь мовчишь! А хто автомат наставлял? Кто яйцы, сала требовал? – Агафья была грузная, рыжая, при каждом её наскоке широкая, тёмная юбка колыхалась, обвиваясь вокруг босых, загорелых до черноты, отёкших ног. Немец испуганно пятился назад.

– При чём тут сало? Кто сынов наших убивал? Кто мужиков стрелял? Ах, ты гад! Бей его, бабы! – тонко взвизгнула моя соседка Галина, у которой и муж, и сын единственный погибли в первый год войны. Она бросилась к немцу, схватила его за ворот и стала трясти. И тут, пока бабы решали, бить им немца или не бить, из-за ближайшего вяза, с оглоблей в руках, выбежала Нюрка. Она запыхалась, волосы её растрепались, на плече из свежей ссадины сочилась кровь. За ней лёгким кузнечиком, неслась её дочь, семилетняя Олюшка. Не говоря ни слова, Нюрка подбежала к немцу сзади и опустила оглоблю ему на голову. Мне было видно, как он смиренно закрыл глаза, подогнулся в коленях и упал на бок. Одежда его распахнулась, вероятно Галина всё-таки оторвала остававшиеся пуговицы и стала видна бледная, худая цыплячья грудь и, свесившаяся на бок, тонкая цепочка с медальоном. Все замолчали.

– Бабы! Да, мы ж его убили, – сказал кто-то через минуту.

– Это не мы, это Нюрка, – поправила вездесущая Зина.

– Нюрка не Нюрка, а собаке – собачья смерть, – не совсем уверенно сказала Галина.
Сама Нюрка стояла молча, оглобля держала всё также наперевес обеими руками, как будто собиралась при малейшем шевелении добавить немцу ещё. Но он не шевелился и не подавал никаких признаков жизни. Он был молод, давно не брит. Светлые, редкие волосы, отросшие на усах и бороде, делали его лицо серым и болезненным. Брови и ресницы были потемнее и погуще, а на голове, чуть сбоку, волосы расходились в стороны двумя упругими водоворотами. «Две макушки, как у моего Васи», – подумала я о своём старшем сыне.

Нюркина Олюшка, просочившись между бабами, подошла к немцу и присела перед ним, туго натянув подол платья острыми коленями. Она безбоязненно взяла шапку, слетевшую с головы немца при падении и надела ему её, прикрыв две макушки, предрекающие две женитьбы. Я глядела на его худое подростковое тело и думала, что он и невесту-то вряд ли успел завести, не то, что жениться. И вдруг, немец застонал. Олюшка плюхнулась на зад, опрометью перевернулась и оказалась около матери.

– Бабы! Живой, стонет, – сообщила Агафья.

– Дышит! Бабы! Не убили! – добавила она. Все загалдели, засуетились. Вздрыгнув, бросила оглоблю Нюрка.

– Ольга, беги за водой, к Никифору, – сказала она девочке и та, высоко подкидывая босые ноги, прямо по лугу понеслась к реке.

– Бабы, давайте перенесём его в тень, – командовала Галина, освобождая немцу руки, связанные коричневым женским чулком. И бабы, подхватив его со всех сторон, поволокли в тень вяза.

– Лёгкий, худой, – сказала Агафья.

Немца положили, его голову устроили на выступающем, гладко отполированном, корне дерева. Он дышал, изредка стонал, но глаза его были по-прежнему закрыты. Что делать дальше никто не знал. Вскоре, прибежала Оленька с бутылкой воды. Вдали по лугу медленно ковылял хромой Никифор. Немцу стали лить воду на лицо. Он оживился, стал ловить её ртом. Агафья, кряхтя, присела, приподняла ему голову и стала поить. Немец пил. Вдруг, он открыл глаза, с ужасом посмотрел на Агафью и залепетал:

– Ихх ниht ершиссен, криг шлехт, Гитлер капут, – он говорил ещё что-то, пытаясь отодвинуться от Агафьи как можно дальше, и одновременно одной рукой открывал медальон. Открыл. Там была фотография женщины.

– Муттер, майне муттер! Ниht ершиссен! Ихх зольдате. Ихх ниht ершиссен! –

– Что он говорит? – все посмотрели на Татьяну, которой легко давался немецкий язык.

– Говорит, что он не стрелял или просит, чтобы его не расстреливали, говорит, что его семь, нет – семнадцать лет, что это его мать – перевела та.

Немец вплотную придвинулся спиной к стволу вяза. Он держал на вытянутой руке открытый медальон с фотографией молодой улыбающейся женщины и продолжал бормотать. Ему, вероятно, казалось, что фотография, как икона, непременно защитит и спасёт. Не станут же эти женщины убивать его на глазах у матери.

И тут подбежал, вернее, подковылял, дед Никифор.

– Это что за самосуд? Кто разрешил? – он тяжело дышал и всем телом опирался на палку. Бабы расступились, давая ему проход.

– А ну, все геть отседа! – он насунил косматые брови, и его лицо приняло решительное и сердитое выражение.

– А ты чего разлётся? Вставай! Геть в контору, – это уже немцу. Тот, каким-то образом всё понял и стал тяжело подниматься.

– Это Нюрка его оглоблей по голове огрела, – начала докладывать Зинка и тут же замолчала, поймав осуждающие взгляды женщин.

– Ну, огрела и огрела, – миролюбиво отозвался старик. – Трудно не огреть – наболело. Но убивать-то зачем? Зачем грех на душу брать? – он повысил голос.

– Так, значит им грех на душу брать можно? Наших мужиков убивать? А нам нельзя? – снова взвилась, Галина.

– Всё понимаю, тяжко вам бабы. Понимаю – ничего нет хорошего в том, что ещё попадают в наших лесах вот такие вояки. Так давайте возьмём оглобли и пойдём убивать их да кишки на локоть наматывать. Чем же мы тогда лучших фашистов будем? – философствовал дед. – Не бабское это дело война. Поверьте, бабы, с ними и без вас есть, кому разобраться. И разберутся! Скоро со всеми разберутся. А вы идите, работайте. А то мужики вернутся, а у нас не сеяно, не пахано. А я его в сельсовет отведу.

– Один? – засомневалась Агафья.

– Почему один? С Оленькой отведём. Правда? – обратился он к девочке. Та, почувствовав всю ответственность доверенного ей мероприятия, степенно кивнула головой.

– Сбежит! Дай хоть руки свяжу, – Агафья подняла и отрянула, валяющийся на земле чулок.

– Не сбежит, вы-то скорости ему поубавили, – дед усмехнулся в усы, но препятствовать не стал.

Немец с опущенной головой и со связанными руками отправился к сельсовету. Следом, тяжело опираясь на палку, шёл дед Никифор. Рядом с ним, прижимая к боку пустую бутылку, и, забегая то слева, то справа, мельтешила Оленька.

– Вот и ладно, бабы, вот и ладно, расходимся, – подвела итог Агафья.

Я подумала, что некогда возвращаться домой, доедать борщ, потому что давно пора в поле, где меня и всех этих женщин ждёт тяжёлая, не женская работа, работа, от которой болят кости и жилы, от которой выбухают и лопаются вены, от которой сохнет и черствеет кожа. Кожа, но не душа.

**Ольга
БУЛАНОВА**

НЫНЧЕ...

Нынче зима холодная
Милость сменила на гнев.
Вьюга волчицей голодною,
Мчитя, совсем озверев.
Стучится в окно нечаянно
И дивный оставив узор,
Бег продолжает отчаянный,
Несётся во весь опор.
Деревья озябли сонные,
Спрятавшись, птицы молчат.
Лишь люди неугомонные,
Куда-то спешат и спешат.

**Надежда
ЩИПАКИНА**

Цепь вещей и впечатлений:
Дверь, скрип ставни, стол,
кровать,

Ветер в окне, приступ лени...
Цепь рассыпалась опять.

Снова! Снова! Ветер,
остров

Одиночества, февраль,
Поистраченные тосты,
Похудевший календарь.

Было всё и разметало:
Листья, строчки,
письма, взгляд –

Юный, старческий, усталый
На меня, на листопад.

Ставни, стол, глухая дверь...
Всё текло и изменилось.

Исковеркалось, разбилось.
Цепь. И всё в цепи теперь.

**Мария
МУХИНА**

Не бросайте слабых женщин,
Им разлуки не стерпеть.

Сей закон, наверно, вечен –
Могут даже умереть.

Не бросайте их, не стоит
Причинять им злую боль.

Одиночество ускорит
Их смертельный приговор.

Вспомните, однажды в хоре
Вам пришлось со мною петь...
Не бросайте женщин в горе –
Им придется умереть.

После хора были встречи
И охапками цветы.

Вы клялись: «Любовь навечно!»
Исполнялись все мечты.

А потом все дни из трещин,
Карту боли нечем крыть.

Не бросайте сильных женщин,
Им придется дальше жить!

**Татьяна
САВЕЛЬЕВА**

Осторожно садится вечер,
Словно брюки боится примять.

Я желанию не перечу –
Достаю старую тетрадь.

В ней листочки,
годами закрученные,
Сплошь исписаны
ровным почерком.

Строки, страстным
сердцем измученные,
Стали юности моей очерком.

Куцо, нервно, правдиво,
стремительно

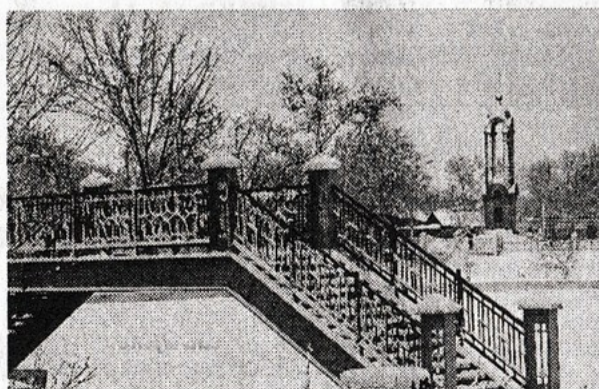
О безгрешных моих грехах...
Кто из взрослых

так предусмотрительно
Сберег крик этот
в старых вещах?

Серой мышкой вгрызается
в психику

О том честном прошлом тоска.
А на компьютерную

мою лирику
Юности наплевать свысока.



«Снегопад прошёл». Фотоэтиюд Бориса МЕЙКУПА